

Данийе, моей матери
Para todas las Dominicanas
Всем нашим невоспетым героям

ЧАСТЬ I



КОГДА ХУАН РУИС В ПЕРВЫЙ РАЗ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, МНЕ

одиннадцать, я тощая и плоскогрудая. Я полусонная, кудрявые волосы рвутся из-под резинки во все стороны, платье напялено задом наперед. Хуан и его трое братьев живут в Ла Капиталь*, но раз в две недели, в выходные, приезжают глубокой ночью и поют серенады приличным деревенским девушкам из тех, кого незазорно взять в жены. Хуан и его братья не первые; много их, мужчин, которые останавливаются у нашего дома поглазеть на нас с Тересой, моей старшей сестрой.

И это давно уже так — я притягиваю взгляды как магнитом. Я не такая, как другие девчонки. Меня не назвать хорошенькой. Какая интересная, говорят люди, настоящая красавица. Как будто зеленые глаза сияют ярче, как будто они драгоценней, и всякому хочется ими завладеть. Вот поэтому мама и твердит, что должна устроить мое будущее, не то судьба моя будет еще горше, чем у Тересы, которая уже положила карий глаз на Эль Гуардию, охранника, что стережет муниципальное здание в центре города.

Той ночью, первой из длинной череды ночей, трое братьев Руис останавливают машину у края проселочной дороги и звонят в папин пастуший колокол, словно созывая коров. Безлунное небо затянуто облаками, на дороге темно. С электричеством перебои, мы сидим без света по пятнадцать часов кряду. Бывает, утром недосчитываемся курицы, а наш магазин в прошлом году грабили дважды. Так что мы все запираем на ключ, особенно после того, как застрелили Трухильо**. В собственной машине застрелили!

* Столица (*исп.*).

** Рафаэль Леонидас Трухильо Молина — фактический правитель Доминиканской Республики с 1930 по 1961 год диктатор. Известен под прозвищем Эль Хефе, то есть «Шеф».

А ведь он тридцать один год был Эль Хефе! Папа только посмеивается. На него всю жизнь отовсюду смотрели фотографии Трухильо, и под ними слова: «Бог на небе, Трухильо на земле». Но оказалось, что Трухильо тоже может умереть, и как тут не смеяться. Видно, и у Бога лопнуло терпение. Только Трухильо не упокоился в мире. В Ла Капиталь все вверх дном. Совсем страшно там стало. Ни закона, ни порядка. Все будто с ума посходили. Когда городские к нам приезжают, знай только нижнее веко оттягивают, мол, вы там поглядывайте. Мы и поглядываем.

Мы с мамой и Тересой жмемся у стены дома, а папа берет винтовку наперевес и шагает в темноту. Йонни и Ленни, братья, и кузины Хуанита и Бетти спят в доме.

Это мы, это мы, кричит из темноты Хуан. Братьев Руис все знают, они часто ездят в Нью-Йорк, а когда возвращаются, у них полны карманы денег, долларов.

Двое братьев Хуана машут гитарами у него из-за спины и хохочут.

А ну сюда ступайте, кричит мама, и вскоре они уже сидят у нас во дворе перед домом, в руках бутылки с пивом, и ведут разговор о Нью-Йорке, политике, деньгах и документах.

Пьяный Хуан делает мне предложение. Слышь, говорит, выходи за меня. Я тебя увезу в Америку. Ноги у него заплетаются, он прижимает меня к доскам забора. Соглашайся, и дышит мне в лицо перегаром, и жирный пот капает мне на лицо.

Папе плевать на политику, он в жизни не поверит человеку в деловом костюме. Папа тянется за винтовкой, а мама встает между ними и переводит все в шутку, как она умеет, смеется во весь рот, прижав подбородок к груди, а потом игриво стреляет глазами. Она берет Хуана за плечо и вновь усаживает на пластиковый садовый стул рядом с братьями, которые тоже уже перепились сверх меры.

Хуан садится, грудь его ложится на круглое брюхо, и челюсть, уголки губ, щеки, глаза — все едет вниз, как у грустного клоуна.

Хуан тарашится на мои коленки, прямо глаз не сводит, как будто у меня там какой-то секрет, и он его хочет разгадать.

Эти трое братья, но ничегошеньки общего у них нет, родители одни, а лица разные, и рост разный. Погодите, это вы еще Сесара не видали, говорит Гектор. Они щеголяют в деловых костюмах и держатся тесно, как рок-группа на сцене. Глаза у них розовые и стеклянные. Братья опираются на свои гитары как на костыли.

Эта песня — для тебя, говорит Хуан Тересе, и под строгим папиным взглядом она ежится. Но смотрит он только на меня. Тересе тринадцать, а выглядит на все двадцать, она родилась, не дожидаясь рассвета, брыкаясь и вопя. Она в предвкушении перебрасывает подол юбки из стороны в сторону. Это еще до того, как Эль Гуардия поставил крест на ее будущем. Рамон, старший из троих, подтягивает струну на гитаре, а Хуан окидывает братьев таким взглядом, каким птичница пересчитывает цыплят, встает на ноги, с виду вылитый снеговик, поворачивается и начинает:

Bésame, bésame mucho ...

Голос у него низкий, густой, сильный, он заполняет пустоту у меня в груди. Тает лед. Под темным небом, в неподвижной ночи этот голос кажется еще громче. Я закрываю глаза и слушаю. Что я в нем слышу? Печаль? Жажду? Страсть? Все сразу?

Como si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho,
Que tengo miedo a perderte, perderte después ...

Когда он заканчивает, мама с Тересой вскакивают на ноги и хлопают. Хлопают изо всех сил. Еще! Еще! — просит Тереса, не понимая, что Хуан поет для меня.

Я знаю, что однажды земля развернется у меня под ногами

и Хуан увезет меня отсюда. Подступают слезы. Не знаю, как и когда это будет, но там, снаружи, хищный мир, и он ждет меня.

Девочки, спать, говорит папа, и голос его брякает как коровий колокольчик. Он кладет винтовку на колени, никогда еще я не видела его таким злым. Двоих его сестер забрали военные, еще при Трухильо.

И нам пора, говорит Рамон и встает, худой и высокий, как флагшток, всегда такой обходительный, всегда словно бы извиняющийся за младших братьев, которые никак не научатся держать себя в руках.

Уходя, Хуан наклоняется и смотрит мне в лицо. Я смотрю ему прямо в глаза, словно могу напугать. Он делает вид, что отступает, но вдруг, резко качнувшись ко мне, лает, громко и неожиданно. Гав! Гав! Гав! Я отпрыгиваю и спотыкаюсь о пластиковое ведро, которое стоит у двери, мы носим в нем воду. Он смеется в голос. Его грузное тело сотрясается от смеха. Смеются все, кроме меня.

Мама мило улыбается и приглашает их заходить еще, мы же не чужие, а когда девушка настолько хороша, не грех и подождать. Может быть, как-нибудь сходим в ресторан в городе, говорит она, прекрасно зная, что никогда в жизни мы не поедem в Ла Капиталь и ни в какие рестораны не пойдem.

В ДЕНЬ, КОГДА ТЕРЕСА ВЫТАСКИВАЕТ ИЗ МАМИНОГО ШКАФА

ее любимое платье и тайком его надевает, чтобы удрать на свидание с Эль Гуардией, мама заявляет, что на Тересу надежды никакой и что теперь ее забота — выдать меня за Хуана.

Ты видела, как она уходила?

Нет, вру я.

Мамино белое платье плотно облегает Тересу везде, где надо, включая колени. Она движется так, словно под каблуками у нее спрятаны колеса, и тело у нее пышное, женское. *Una mujeron**, говорит Йонни. У Тересы рот сердечком и крупные зубы, поэтому губы у нее всегда приоткрыты, и кажется, будто она хочет тебя поцеловать.

Стоит маме хотя бы подумать о том, как мальчики вьются вокруг Тересы, или услышать, как о ней говорят, что она шустрая, горячая, с перчиком, и мама сжимает кулаки и рвет на себе волосы. По-настоящему рвет, от Тересиних походов у нее уже лысинка на затылке. Но сколько Тересу ни лупи, сколько на нее ни ори, она все равно улизнет к этому своему.

Когда она удрала в первый раз, мама орала так, что с неба хлынуло как из ведра и нас затопило. Мы с Тересой, Ленни, Бетти, Хуанитой и Йонни потом целое утро вычерпывали воду из дома, ведро за ведром.

Я смотрела, как Тереса по одной снимает бигуди и разделяет пальцами темные локоны. Хуанита битый час укладывала Тересины густые своевольные кудри. Но дело того стоило. Она встряхивает головой, и кудри у лица пускаются в пляс — настоящая королева красоты.

* Женщина (*исп.*).

Мама тебя убьет, прошептала я, стараясь не разбудить Хуаниту и Бетти, которые делили с нами кровать и переплетали во сне руки и ноги. И мурчали как котята. Ленни и Йонни отделены от нас простыней. Простыня висит поперек комнаты, от одной стены до другой. Она такая ветхая, что при свете лампы перед сном мы видим сквозь выцветший желтый с голубым цветочек силуэты друг друга. Но они спят как убитые, тут Тересе повезло.

Ой, да спи ты, я тебе вообще снюсь, негра.

Тереса шуршит по комнате, словно мышка. Ночь истекает птичьими трелями, визгами, хриплыми криками, противными звуками спаривающихся лягушек прямо у нас за окном. Папа говорит, это потому, что от любви бывает больно.

А если мама не впустит тебя в дом? А вдруг с тобой что-нибудь случится? – спрашивала я, уже боясь за родителей, которым будет больно потом. Потому что там, где мы живем, нет ничего, кроме темноты. До ближайшего дома миля, не меньше. А электричество у нас с норовом. То потухнет, то погаснет.

У Тересы сияют глаза. Вон погляди, Эль Гуардия на дороге, ждет меня.

Я на цыпочках прокралась к окну. На макушки пальм падал яркий лунный свет.

Я вернусь, когда все еще спать будут. Не волнуйся за меня, сестричка.

Ну почему ты не можешь подождать и сделать все как надо? Пусть придет, познакомится с родителями, попросит твоей руки. Откуда ты знаешь, что он это все всерьез?

Тереса улыбнулась. Во-первых, мама его ни за что не примет. Ты когда-нибудь поймешь. Когда влюбишься, идешь на все, даже если все твердят, что ты чокнутая. Это же любовь. С ней не поспоришь.

Не хочу я никакой любви, сказала я, но потом подумала о Габриэле, который краснел, стоило ему поймать мой взгляд.

А любовь тебя не спросит, ответила Тереса и подула на жаров-

ню с тлеющими в ней листьями шалфея, которые перебивали исходивший по ночам от Ленни и Йонни вонючий мальчишеский запах.

Тереса выплыла из комнаты. Обернулась и подмигнула мне, облизала губы, словно ничего вкуснее в жизни не пробовала. Я представила себе юную маму, ровесницу Тересы, одно лицо с нею, как два платья из одного куска ткани. Pin-rúp, la Mamá, говорят люди, когда впервые видят Тересу. Pin-rúp!

У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОН СЮДА ПРИЕХАЛ.

Вот как это было у Хуана. Он приезжает в Нью-Йорк впервые, и все, что у него есть, — адрес и двадцать долларов в кармане. Автобус высаживает его на пересечении Семьдесят второй и Бродвея, на островке, где повсюду скамейки, а на них нарки под кайфом. Сигналят машины, над головой проносятся вертолеты, и сердце у него бьется быстро-быстро. Он всегда любил приключения, но этот город уже заставляет его лететь сломя голову, и он понимает, что здесь перехватить контроль удастся не сразу. Он выискивает здание с нужным номером, находит сломанную входную дверь. Поднимается на пять пролетов, волоча за собой чемодан. В подъезде ни одной лампочки. Запах плесени от сырых ковриков будит воспоминание о пещерах, в которые он лазал ребенком. О, как он любил эти пещеры: скользкие камни, темнота, грохот водопада — сладчайшая награда за долгий путь в грязи.

Он делает глубокий вдох. Он справится.

Когда он наконец стучит в дверь, ему открывает косматый старик.

Ju, ju, Frank? — спрашивает Хуан. Фрэнк — итальянец, он сдает комнаты.

Да, да.

С этими словами он жестом приглашает Хуана войти. Вот его первое жилье: комнатуха с двумя матрасами. Один матрас голый, на нем лежит стопка аккуратно сложенного белья и полотенце. На соседнем матрасе спит мужчина, закрыв лицо подушкой, чтобы не мешали огни ночных улиц, льющиеся в окно.

Десять долларов в неделю. Платить по воскресеньям. Понимаешь?

Йес. Сенк ю, отвечает по-английски Хуан. Он успел выучить «йес, сэр». Сенк ю. Доллары и центы. Ноу, сэр. Числа от одного до десяти. Окей. Который час. Такси, плиз. Еще поезда.

Девчонка дома есть? — спрашивает Фрэнк.

Черт, вы говорите по-испански? — почти вскрикивает от облегчения Хуан.

Сюда девчонок водить нельзя, продолжает Фрэнк. Ни на неделю, ни на ночь.

До этого момента Хуан обо мне даже и не вспоминал. Но он и в самом деле собирается на мне жениться, потому что, как говорит Рамон, мужику нужна хорошая деревенская девка, чтоб подалее от беды.

Фрэнк готовит кофе и разливает по двум чашкам для эспрессо, из разных сервизов.

Я слышал, в гостиницах по Тридцать четвертой улице нужны работники и платят хорошо, говорит Хуан.

Фрэнк выпячивает подбородок.

У тебя что, ничего получше нет?

У Хуана тонкое шерстяное пальто, даже без подкладки. Фрэнк достает из шкафа в прихожей пальто до середины бедра, теплое, шерстяное, в рубчик, с меховым воротником.

Ты же не хочешь умереть от пневмонии прямо в очереди.

Хуан замечает потертые манжеты, обнажившиеся слои муслина. Подкладка висит клочьями.

Мы тут свет не жжем, чтобы не платить лишнего. И в чужие дела не лезем.

Снаружи раздается грохот. Хуан подпрыгивает.

Ночью, смотри, осторожнее. Нарки за бакс прирежут. Им терять нечего, так что держись от них подалее.

Хуан отдает Фрэнку десять долларов — платеж за неделю. Потягивает кофе, понимает, что не обедал. В самолете кормили мало. Но на улице темно, и тратить деньги на еду не хочется, вдруг не получится сразу найти работу.

Я, наверное, спать буду.

Ванная дальше по коридору. Удачи тебе завтра.

Хуан ставит чемодан рядом с матрасом. Средних размеров полотенце, лежащее на постели, совсем вытерлось и обтрепалось по краям, но пахнет чистым. Он ложится не раздеваясь. Туфли ставит у постели. Сосед храпит. У Хуана урчит в животе. Он смотрит на часы и вспоминает шоколадное пирожное, которое подавали в самолете. Или не пирожное, а печенье? Снаружи хрустящее, а внутри влажное, никогда такого не пробовал.

ГОД ИДЕТ ЗА ГОДОМ, И ХУАН СНОВА И СНОВА ПРИЕЗЖАЕТ К НАМ

с братьями по ночам выпить бесплатного пива, а меня заманивает сладкими словами без конца. Поехали со мной, а? Найдем мирового судью, говорит он снова и снова. Пташка зеленоглазая, первый раз такую встречаю, и его налитые кровью стеклянные глаза заглядывают в мои, и волоски у меня на шее встают дыбом.

С самого моего рождения мама твердит, что мои глаза — это счастливый билет и что они от дедушки, который был из Эль-СибАО. Она всегда гордо говорит о папиных родных, хоть они и отказались от нас после того, как мама вышла за папу в надежде, что он увезет ее из Лос-Гуайаканес. Она так надеялась, что не слушала, когда ее предупреждали, что эти люди на черных не женятся. Так мы и остались в Лос-Гуайаканес.

Может, хоть Хуан вывезет нас из этой дыры, говорит она.

На Тересу надежды нет, Эль Гуардия уже всю делает ей ребенка. Они просто встретились взглядами, говорит Тереса, и у нее тут же заныло в животе и между ног, и его страсть была как кулак, которым ее ударило в пах. Так она выражается, Тереса.

Когда-нибудь, говорит она мне по секрету и подмигивает, ты сама увидишь, что Габриэль уже не мальчик, который догоняет-догоняет, да никак не догонит. Он уже готов, Ана, и, если ты позволишь, он укусит.

Когда она говорит о мальчиках, у нее блестят зубы.

Мама говорит о том же. Неважно, какие у Хуана намерения, серьезные или не очень. Мама достаточно пожила на этом свете и знает, что мужчина и сам не понимает, о чем думает, пока женщина не заставит его об этом подумать. И когда в двенадцать лет и восемь месяцев у меня приходят первые месячные, она расплетает

мои косички и стягивает волосы на затылке так туго, что ни одна кудряшка не выскользнет, а кончики глаз уползают к вискам. Когда приезжает Хуан, мама заставляет меня надевать воскресное платье, из которого я давно выросла. Платье туго обтягивает небольшие бугорки, которые успели появиться на груди, выставляет их на всеобщее обозрение. Хуан частенько пьян, ему что платье, что мешок от картошки — все едино, но мама подкрашивает мне губы розовым. Когда я разговариваю, помада пачкает мне зубы, будто кровью. В отличие от Тересы, я не улыбочива. Мама заставляет меня сидеть с братьями, и подол платья ползет вверх, а ляжки липнут к пластиковому сиденью стула.

Беременную Тересу загоняют в дом, где она сидит с Хуанитой, ей шестнадцать, и Бетти, которой пятнадцать, чтобы Хуан не отвлекался. Йонни, на год старше меня, и Ленни, который до сих пор не научился сморкаться, садятся подальше и строят рожи, передразнивая братьев Руис в шикарных костюмах и переиначивая на свой лад все, что они говорят. Разговор идет по кругу: документы, курс доллара, бейсбол, ставки. То они жалуются на то, что президент Балагер не в состоянии держать слово, а на следующий год радуются государственному перевороту и тому, что Бош выиграл выборы. Наконец-то у нас демократия, кричат они. И снова — деньги, документы, деньги, документы, деньги, документы. Говорят и говорят, как будто нас здесь нет, пока мама не переменит тему.

Мне все равно, кто у нас президент, но если дела не поправятся, и скоро, землю нам не сохранить. Особенно участок у моря, с нажимом говорит мама, у моря.

Рамон вдруг садится прямо. Ах, вот оно что... может быть, как-нибудь устройте нам экскурсию, спрашивает он у мамы, но смотрит на папу.

Как же папе неудобно в компании этих городских, толстых и обрюзгших, в темных шерстяных костюмах, как неловко, когда они потеют, похваляются поездками в Нью-Йорк, расписывают, как

купают то и это, рассуждают о всяких там ресторанах. Столько историй, столько надежд. И папа, в поношенных брюках и ветхой рубашке, слушает, как мама все рассказывает и рассказывает о том, какие там плодородные земли и прекрасные виды.

Никогда не встречала человека трудолюбивее моего мужа, говорит она и умоляюще смотрит на папу, который, поморщившись, снова кладет на колени винтовку.

Мы что, правда продадим землю? — спрашиваю я его.

Врать папа не любит, поэтому молчит. Пусть у меня не будет даже стула, чтобы присесть, частенько говорит он, но моего слова у меня никто не отнимет. Он смотрит сквозь пальцы на мамины улыбки, на то, как она чересчур поспешно втягивает меня в эту карусель, но он уважает братьев Руис. Когда они берут в долг, то возвращают вовремя и с процентами. Когда они дают в долг, они пишут специальную бумагу, чтобы никто не чувствовал себя обманутым. Все знают, что слово братьев Руис — все равно что золото в банке.

Хотите еще пива? — колокольчиком звенит мамин голос.

На следующий день, оставшись со мной наедине, папа вдруг говорит ни с того ни с сего: Ана, я хочу, чтобы ты была счастлива.

Я и так счастлива.

Ты знаешь, что я имею в виду. Он смотрит на меня так, словно ждет, что я заулыбаюсь, или взвизгну, или радостно захопаю в ладоши. Мне вечно твердят, чтобы я улыбалась, даже когда радоваться нечему. Улыбнись, Ана! Ты же девочка, ты такая хорошенькая! Ты настоящей жизни не нюхала! Иногда я улыбаюсь, просто чтобы отстали. Но сейчас не получается.

Папа уже выпил две бутылки пива, а по такой жаре это все равно что четыре. Краешки глаз у него влажно блестят, свободной рукой он потирает колено, которое болит от долгих дней, наполненных уходом за скотиной и работой на земле.

А ты счастлив? — спрашиваю его я. Его загорелое лицо как море в ночной темноте.

ХУАН ИСЧЕЗАЕТ И НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД — стоит в очереди желающих получить работу в гостинице «Нью-Йоркер».

Ветер хлещет его по лицу. Жидкая кровь стынет в жилах, ноют кости, и, когда ему уже кажется, что он вот-вот умрет от льющегося в легкие холодного воздуха, он начинает считать, сколько дней ему предстоит провести в Нью-Йорке: сто восемьдесят. Проработать сто восемьдесят дней — и хватит заплатить за билеты и отложить сколько-то денег, чтобы отвезти домой. Потом считает годы: двадцать восемь, ему двадцать восемь лет. Девять — он родился девятого числа. Четыре — четверо братьев Руис, двое из которых тоже едут в Нью-Йорк, чтобы работать с ним вместе, а еще один попытался, но не смог вынести нью-йоркских зим и вернулся домой. Хуан считает людей в очереди. Один, два, десять, пятнадцать. Он шестнадцатый. В животе урчит — он не обедал. Кусок хлеба, который он стянул из Фрэнкова холодильника, только раздражил аппетит. Стоящие в очереди не сводят глаз с боковой гостиницы. Ему хочется вернуться к себе в комнату и прижаться к батарее.

Заправь штаны в ботинки, говорит стоящий перед ним парень. Так теплее.

Но Хуан не хочет быть похож на панка.

Наконец открывается дверь, и выходит женщина в черной меховой шляпе. Настоящая кинозвезда. Ярко-алые губы на бледном лице. Она проходит вдоль очереди и обратно, глядя в список. Она выбирает тех, кто ей нужен, а остальных жестом отсылает прочь.

На сегодня все.

Хуан хватается за руку, чтобы привлечь внимание.

А ну пусти.

Простите, но мне очень нужна работа.

Попробуй завтра. Всем нужна.

А они все такие же красавчики, как я?

Фирменное обаяние семейства Руис не подводит и теперь. У всех Руисов глаз горит, и во взгляде не надежда – твердокаменная уверенность.

Подожди здесь. Посмотрю, что можно сделать.

Она уходит в дверь. Хуан садится у порога и ждет. Подходит мужчина, предлагает сигарету.

Не придет она за тобой. Не будь *pendejo**.

Все остальные ушли. А Хуану говорили, что здесь всех берут.

Хуан покупает кофе из фургончика. Обхватывает чашку обеими руками, чтобы согреть пальцы, и медленно пьет. Всякий раз, когда открывается боковая дверь, сердце у него пускается вскачь. Выносят мусор. Кто-то уходит после смены. Кто-то выбрасывает за дверь окурок. Который час, спрашивает Хуан какого-то парнишку. Он решает ждать еще час. Он считает секунды. Минуты. Слишком быстро. Начинает считать медленнее. Сбивается, потому что пальцы онемели. Открывается дверь. Выбегает женщина. Она его не видит.

Простите, кричит он ей вслед.

Ты что, рехнулся? На улице меньше нуля. Иди домой.

Мне нужна работа.

Я же тебе сказала, работы нет.

Вы сказали, чтобы я подождал.

Она отводит взгляд в сторону, лишь бы не видеть отчаянных глаз Хуана.

Я сегодня поработаю бесплатно. Я хороший работник, вот увидите. И завтра вы точно меня выберете.

Женщина вздыхает. Иди внутрь, спроси Хосе. Он скажет тебе,

* Дурак (*исп.*).

что делать. Заплатить сегодня не смогу, но пообедаешь со всеми вместе.

Спасибо. Хуан сияет улыбкой, берет ее руку, целует. Вы ангел, говорит он и бежит к боковой двери, в тепло.

ЕСЛИ ХУАН ДОЛГО У НАС НЕ ПОКАЗЫВАЕТСЯ, МАМА ЗАСТАВЛЯЕТ

меня писать ему письма. Расскажи ему, как у нас жарко. Ужасно жарко. Напиши, что очень хочешь увидеть снег. О том, как он славно выглядит в костюме, и еще напиши, что зеленый – твой любимый цвет, пусть вспомнит твои глаза. Ни у кого таких нет. Может, он даже привезет тебе подарок. Напиши, что ты хорошо учишься в школе. И что любишь цифры, и что они тебе снятся по ночам.

В этом мы с Хуаном похожи. Я тоже всегда считаю, сколько шагов до школы, сколько раз учительница повторила одно и то же. Я считаю даже то, что сосчитать невозможно, – звезды в небе, лаймы на дереве в саду.

Напиши, что ты очень любишь готовить. Какие блюда. Не просто «люблю готовить», напиши, что готовишь *pescado con soso*. Пусть знает, что ты не боишься ни рыбу почистить, ни кокос натереть.

Да кто ж боится тереть кокосы, спрашиваю я маму, но она все говорит и говорит.

Пригласи его в гости, напиши, чтобы приходил в приличное время, и ты приготовишь ему достойное угощение. Скажи, что тебе очень хочется его накормить. Что ты по нему скучаешь и очень хочешь увидеться снова.

Но это же неправда, говорю я.

Ой, да какая разница. Что такое правда? Письма – это лассо, просто слова на странице, и мы бросаем их, чтобы заарканить надежду.

А может, я этого не хочу.

А чего ты хочешь, Ана?

Я не знаю.

Будь Тереса уткой, ей был бы не страшен никакой Эль Гуар-

дия, говорит мама. А теперь она носит дурное семя, и ничего тут уже не поделаешь. Пробросалась, и жизни конец. Пробросалась! А вот утка не впускает негодную сперму, берет только правильную. И детей делает только с самым лучшим селезнем, а не с каким-нибудь там первым попавшимся задохликом. А еще когда утки спят, то всегда держат один глаз открытым, если только другая утка их не стережет. Учись у уток, говорит мама.

РАМОН ГОВОРИТ, ЧТО ПЕРЕДАЕТ ВСЕ МОИ ПИСЬМА ПО НАЗНАЧЕНИЮ,

но Хуан никогда не пишет в ответ. Он очень занят работой и всем прочим, что там делают в Нью-Йорке.

Вот, послушай, говорит Хуан парню, который стоит перед ним в очереди.

Что угодно, лишь бы не думать об этом холоде.

Встречаются два приятеля, и один другому говорит: не знаю, что делать с дедушкой. Он все время грызет ногти. Другой отвечает: мой тоже грыз, но я нашел способ.

Какой? Связал ему руки?

Нет, спрятал его зубы.

Стоящие вокруг мужчины хохочут. Хохочут так громко, что даже не замечают дамы в черной меховой шляпке. Дама указывает на них пальцем.

Хуан впервые видит ее улыбку. Она ничем не выделяет его из остальных в очереди, но Хуан все равно говорит Рамону, что она на него запала.

Цыпочка из Пуэрто-Рико, менеджер — на тебя, латинос, иммигрантишка желторотый? Мечтай больше.

А вот увидишь, говорит Хуан, твердо вознамерившись ему доказать. За пятьдесят центов он покупает на улице красный шарф и теперь отчетливо выделяется на фоне остальных, которые ходят в сером и коричневом.

Увидев его, она окидывает его оценивающим взглядом.

Говоришь по-английски, спрашивает она Хуана.

Беди гуд.

Нужен швейцар на сегодня. Наш заболел.

Он замечает у нее на руке обручальное кольцо.

Seguro que yo speako English*, говорит он, торопливо идя за ней следом.

Если провалишь дело, больше сюда не приходи.

Sí, señora**.

И не называй меня так. Я сразу кажусь себе старухой.

Простите, señora. Я хотел сказать — señorita.

Спроси Хосе. Он даст тебе форму и скажет, что делать.

Gracias, señora. Вы красавица, señora.

Ты ненормальный, говорит она, и они смеются вместе.

А как вас зовут? — спрашивает наконец Хуан.

Каридад. Каридад де ла Лус.

Начиная с этого дня Каридад всегда выбирает в очереди Хуана и дает ему разную работу. Он учится правильно накрывать на стол: вилки для каждого блюда должны лежать слева, а ножи справа, тарелки для хлеба и масла — над вилками. Он учится отличать бокалы для белого вина от бокалов для красного. Учится складывать салфетку так, чтобы получилась птица. Когда-нибудь, думает он, он все это будет делать в собственном ресторане в Доминикане.

Мыть посуду дело унылое, ему больше нравится убирать со столов, а еще больше — встречать посетителей на входе, потому что там дают хорошие чаевые и никто не стоит над душой. К концу дня от непрерывной улыбки ноет челюсть, а от необходимости все время стоять болят ноги, но Хуану все равно нравится быть при деле, потому что, когда дела нет, ему становится одиноко и грустно, и он скучает по Санто-Доминго и по девчонкам, у которых там, дома, он никогда не знал отказа. В Нью-Йорке женщины непростые. Такие женщины, как Каридад, непростые. Многие замужем за военными, ждут мужа, который вдруг раз да и уехал на какую-нибудь войну. Таких женщин нужно выводить в ресторан, говорить с ними без конца.

Рамон напоминает Хуану, что тот приехал работать, а не раз-

* Я действительно говорю по-английски (*исп.*).

** Да, сеньора (*исп.*).

бираться с бабскими заскоками. Он говорит, что Хуану нужна скромная девочка из хорошей семьи, вроде меня.

По указке брата Хуан посылает мне чек на пять долларов, на личные расходы, говорит он, и бусы с зелеными камушками, потому что у меня зеленые глаза.

В письме ничего лишнего: Ана, пожалуйста, дождись меня.

КАК ГОВОРIT ПАПА, ПО КАПЕЛЬКЕ ВЕДРО НАПОЛНИТСЯ, ЕСЛИ

только не спешить. Где-то посреди маминых писем, бесплатного пива и ежегодных визитов Хуан Руис наконец официально просит моей руки. Мне пятнадцать. Хуану тридцать два.

Он приезжает днем вместе с Рамоном. Трезвый – по крайней мере, настолько трезвым я его еще не видела, – руки держит при себе и не хватается за меня, маму, стул или дерево, чтобы удержаться на ногах. Я впервые вижу его. По-настоящему вижу. Он даже снимает пиджак. В сшитом на заказ жилете, без подкладных плеч он кажется не таким широкоплечим, не таким страшным.

Ана? Хуан говорит так серьезно, что все тут же смотрят на нас, затаив дыхание. На мне воскресное платье, желтое, выцветшее, такое тугое, что в нем невозможно дышать. Голова увенчана копной кудряшек. Во рту пересохло, горло перехватывает. Я с самой первой серенады знала, что так оно и будет. Хуан нависает надо мной. Я утыкаюсь взглядом в тонкие серые полоски на его жилете, смотрю, как они сходятся на лацканах. На щеках у него прорастает щетина, по щетине бежит пот. Я стараюсь на него не смотреть. Но никто не отводит от нас глаз. Тереса стоит совсем рядом, держит сына на бедре. У матери обнажились зубы, на нижней губе запеклась помада. Йонни и Ленни развалились на скамье, как собаки в жару, когда у них языки наружу. Я ищу взглядом папу. Он стоит молча, признавая поражение.

Где же твоя винтовка? Ну что ты смотришь? – хочется закричать мне.

Что? – спрашиваю я. Кажется, у меня опять помада на зубах.

Тут вдруг Хуан достает из кармана платок и стирает помаду.

Что ты делаешь?

Я отталкиваю его.

Тебе это не нужно. Тебе не нужно краситься, говорит он. Ты и так красавица, таких, как ты, больше нет.

Он плывет от одного взгляда на меня. Я пошире распахиваю глаза. Выпячиваю грудь, чуть улыбаюсь краешком губ. Такого, как Хуан, любая с руками оторвет – виза, доллары, доброе слово, пока-тает в машине, покормит бесплатно в собственном ресторане. Обо всем этом мечтает моя мама, но мне спешить некуда.

Выйдешь за меня замуж? – спрашивает он.

За спиной у Хуана стоит Рамон, будто без него Хуан не выдержит, убежит, откажется от своих слов. Тут я понимаю, что Хуан, должно быть, не так уж и хочет на мне жениться. Все дело в земле, которая принадлежит моим родителям.

Я могла сказать «нет». Губы Тересы плотно сжаты в гримасе неодобрения. У тебя есть права, сказала она мне накануне. Ты сама себе хозяйка.

Я оборачиваюсь к папе в поисках ответа. Давай же, ответь ему, подталкивает меня папа.

Мама в полном согласии с ним берет его за руку, и это так необычно, и Рамон все понимает, потому что улыбается и пожимает папе руку, как будто я уже согласилась, хоть меня никто по-настоящему и не спрашивал.

Йонни и Ленни бегают вокруг и поют:

Мне нравится в Америке... в Америке все даром, olé.

Почти сразу же взрослые отходят в сторонку, чтобы все обговорить. Йонни и Ленни хватают меня за руки и кружат, как в мюзикле «Вестсайдская история», который мы видели в театре в центре города. Из дому выбегают Хуанита и Бетти и присоединяются к празднику.

Вау, prima, как тебе повезло, говорит Бетти. Не забудь прислать мне подарочек.

И мне! В голосе Хуаниты мешаются зависть и надежда. Как увидишь тамошние огни, так больше никогда и не захочешь возвращаться.

Принеси *refrescos**, кричит мама, обращаясь к Йонни. Это надо отпраздновать.

Тереса тяжело уходит в дом и смотрит на происходящее из окна. На руках она держит ребенка и прижимает его к себе крепко-крепко, к груди, словно хочет скрыть от меня свои мысли. Кто будет прикрывать меня, когда она упорхнет? Кто будет делать всю работу по дому?

Осознание приходит как удар: я уеду. Страх, тревога и возбуждение наполняют мое тело. А когда я уеду, никто больше не будет обращаться со мной по-прежнему. Моя жизнь станет источником бесконечных сплетен Хуаниты и Бетти, которые после наводнения остались без родителей и жили с нами, сколько я себя помню. Я буду женщиной при деньгах, в хорошей одежде и с чудесной кожей, потому что Хуан купит мне в Америке хорошие лосьоны. А еще будут списки, много списков, и заказы, которые я должна буду исполнять.

* Закуски (*исп.*).

НЕВЕСТЕ ПОЛАГАЕТСЯ НОВОЕ ПЛАТЬЕ, ПОЭТОМУ МАМА ВЕЗЕТ

меня к Кармеле в Сан-Педро-де-Макорис на примерку.

А как же школа? — говорю я.

Тебе туда больше незачем.

Не могу же я так уйти. Я даже ни с кем не попрощалась.

За этим «ни с кем» она нюхом чует Габриэля. Она не позволит ему сломать все, что выстроено.

Мама оборачивает голову шарфом, снимает с крючка ключи от мотоцикла. Не медля ни мгновения, она перебрасывает ногу, садится в седло и кричит: ну, поехали!

Она занимает почти все седло, но я как-то все же устраиваюсь у нее за спиной.

Шпарит солнце. Она сует мне зонтик и ждет, чтобы я его открыла. Мотоцикл чихает и кашляет, но в конце концов выкатывается на дорогу, оставляя позади облако пыли. Мы долго-долго едем по узкой дороге между полей тростника. Я крепко держусь за маму, прижимаюсь головой к ее потной спине, чувствую вкус океана у нее на коже. С виду может показаться, что мы так близки.

Вдруг на нас обрушивается бряканье жестянок, гудки кораблей, вонь воды, застоявшейся в глубоких выбоинах. Каждый дюйм городских улиц запружен автомобилями и мотоциклами. Набережная Малекон трещит по швам — здесь торгуются, гуляют, сплетничают, пьют. Продают лотерейные билеты и кокосовые орехи. Мужчины свистят и шипят вслед маме, юбка которой задралась так высоко, что видны толстые коричневые ляжки, которые кажутся еще толще рядом с моими костлявыми ногами.

Cochino!* — орет она в ответ зевакам.

Ни одного приличного человека, говорит она и требует, чтобы я держалась еще крепче, а сама пробивается сквозь пробку вокруг парка в центре города, единственного убежища, укрытого пальметтами и миндальными деревьями от безжалостного солнца.

Мама подъезжает к дому Кармелы — только он один и есть в этом квартале из бетона. Некогда он был красным, но выцвел до розового, и на переднем дворе в беспорядке торчат карликовые пальмы.

Кармела! — кричит мама у железных ворот.

Мы заглядываем в дом. В окно мне виден безголовый манекен в глубине комнаты. Мама оглядывается, замечает мои намокшие глаза и прижатый к шее подбородок.

Смотри веселей, говорит она, когда Кармела выходит нас поприветствовать. Ее волосы плотно уложены вокруг головы. Улыбка на пол-лица. У тебя в жизни начинается новое чудесное время. И у всех нас!

Кармела ведет нас в спальню. На полке лежат рулоны тканей. На столике у окна устроилась черная металлическая швейная машинка. С потолка свисает лампочка без абажура. Рядом с рабочим стулом шумит и крутится туда-сюда напольный вентилятор. На протянутой от стены до стены веревке приколоты кусочки ткани и вырезки из журналов с фотографиями платьев, которые заказали портнихе клиентки.

Плохо дело, говорит Кармела, в городе не найти ни клочка белой ткани. До церемонии первого причастия всего две недели, и всем девочкам от шести до восьми лет шьют платья вроде подвенечных.

Мама обмахивается журнальной вырезкой с моделью от Макколлы, взятой со стола Кармелы.

Я улыбаюсь про себя. Может быть, это знак, и свадьбу отложат — а лучше вообще отменят.

* Свинья! (*исп.*)

А какие есть цвета? — спрашивает мама.

Что? — вопрос вылетает у меня сам собой, и они обе вздрагивают.

Какие есть цвета, Кармела?

Для невесты? Кармела скривила лицо, но все же предлагает три варианта. Сияющая золотая парча — нет, ни в коем случае, — черный лен и рулон красного хлопка.

Мама щупает красную ткань на швейном столике.

Это скорее розовый, огненно-розовый, говорит Кармела. Она поворачивается и достает из комода длинный кусок белого кружева. Встает у меня за спиной и прикладывает кружево мне к груди, чтобы мама оценила эффект.

В комнате нет зеркала, и сама я на себя посмотреть не могу. Я сейчас должна быть в школе. Габриэль, мой единственный друг, удивляется, куда это я пропала. Я не могу уехать в Америку, не попрощавшись с ним.

Мама сосредоточенно рассматривает розовую ткань, почти как фламинго, и белое кружево.

Очень ярко. Есть что-нибудь еще?

Есть черное, но она же не на похороны собирается. Тут Кармела умолкает, и я чувствую, что за моей спиной она говорит что-то совсем другое.

Мне нравится черный, говорю я.

Мама отталкивает мою руку. Сшей ей что-нибудь симпатичное из розового, Кармела. И побольше белых кружев. Чтоб все видели, что моя дочь невинна.

Мы выходим под полуденное солнце. Мама открывает зонтик. Берет меня под руку. Заставляет сесть на бетонный выступ у стены дома Кармелы. От запаха жареного платано и рыбы мне хочется есть. На земле валяется абрикос, по абрикосу маршируют муравьи. В гостиных и кухнях играют, перекрикивая друг друга, радиоприемники. На противоположной стороне улицы какие-то мужчины

положили на ящики кусок картона и играют в домино. Женщины развешивают во дворах постиранное белье. Двое мальчишек играют в салки.

Мама достает из бюстгальтера сигарету.

Ты куришь?

Только по особым случаям.

Она останавливает прохожего, просит у него огоньку, затем отпускает взмахом руки. Сделав затяжку, она протягивает сигарету мне. Я кривлюсь с отвращением.

Главный урок, который надо выучить в жизни, чтобы выжить, говорит она сквозь едкий дым: научись притворяться. Не хочешь — не кури, но с сигаретой можно выглядеть шикарно, как кинозвезда.

Это не ко мне.

Она запрокидывает голову, делает затяжку, выдыхает. Солнце за спиной обрисовывает ее силуэт. У нас одинаковой формы глаза и губы, большие, округлые. Одинаковые жесткие волосы на затылке.

Наконец мама делает вдох, подмигивает и улыбается мне.

Если будешь делать такое лицо, *pendeja*, в Нью-Йорке тебя сожрут живьем. Тебе надо быть пожестче, Ана. Думаешь, мне нравится быть такой, какой я стала? Но твой отец слишком слабхарактерный. Он ни разу в жизни ни за что не дрался. Даже за меня.

Ты же всегда говорила, что он тебя буквально преследовал.

Ха. Раскрой глаза пошире, не жди, пока их тебе откроют другие. Слышишь меня?

В этот день мама — волчица, которая гонит прочь выросшего волчонка.

Ты едешь в Америку и делаешь вид, будто тебе плевать, о чем говорят его братья, но сама слушаешь и все подмечаешь. Он из очень трудолюбивой семьи, там хорошие мужчины, предприимчивые. У них есть чему поучиться. Братья Руис были такими же бедняками, как мы. Но они трудились и помогали друг другу. В отличие

от моей родни или родни твоего отца – жадное тупоголовое дурачье, только о себе и думают. А теперь мы породнимся с братьями Руис. Рамон собирается строиться на нашей земле, и, когда ты выйдешь замуж, никуда они от нас не денутся. Нам это нужно – особенно твоему отцу. Нашим садам недолго осталось. Вишня уже гниет, на манго напала мучная роса.

С фруктами год на год не приходится, напоминаю я. Неурожайный год, такое уже бывало.

Хочешь ждать у моря погоды? У этой семьи ресторан в столице, прямо на берегу. Спорю на что угодно – шикарный, на столах тканевые салфетки, в зале канделябры, в ваннх биде и плитка. А вдобавок Хуан работает с братом в Нью-Йорке и собирается открыть еще бизнес и еще. Они очень обстоятельные люди. Упорные. Умные. Ты же хочешь учиться, да?

Да, я хочу учиться, и, может, когда-нибудь у меня будет свой бизнес. Я изо всех сил сдерживаю слезы.

Мама затягивается в последний раз и кладет окуроч на прищипку. Она приподнимает мой подбородок, так нежно, что я успеваю удивиться.

Запомни: с тобой все будет хорошо. Ты едешь в Нью-Йорк. Ты будешь убирать его дом и готовить ему так, чтобы он каждый вечер возвращался домой. Смотри, чтобы он никогда не выходил из дому в невыглаженной рубашке. Напоминай, чтобы вовремя брился и стригся. Подстригай ему ногти, пусть другие женщины видят, что о нем есть кому позаботиться. Напоминай, чтобы он посылал нам деньги. Напоминай, чтобы заботился о тебе. Обязательно копи для себя, но ему не говори. У женщин свои нужды. И всегда будь сильной, всегда. Никому и ничему не позволяй соблазнить тебя или сманить с верного пути. Город – логово хищников, а ты всего лишь девочка. Моя маленькая глупенькая девочка. Я приеду к тебе в Америку, как только ты за мной пошлешь. Мы все приедем в Нью-Йорк, к тебе, и вместе чего-нибудь да добьемся. Клянусь тебе, и Бог мне свидетель.

Разве у меня есть выбор? Что будет со мной, с братьями, если я останусь?

Помнишь твою *Tiá** Клару? Ее дочь вышла замуж за мужчину, который работает в Нью-Йорке, и теперь он каждый месяц посылает деньги ее семье. Ни разу не пропустил. У них цементный пол в доме и новая ванная.

Я не хочу плакать. Но плачу.

Ох, *mi'jita***, не надо. Ну вот, на нас все смотрят. Не глупи. Посмотри на этих детей. Видишь вон тех?

Мама показывает на каких-то босоногих мальчишек, которые тащат корзины с арахисом и очищенными апельсинами. Знаешь, чем занимается каждый день твой брат Йонни, пока вы с Ленни сидите в школе?

Я отворачиваюсь. Мама берет меня за подбородок и заставляет смотреть сквозь слезы.

И как только Ленни научится считать и писать свое имя, он будет делать то же самое.

Да, я знаю. Знаю. Я каждый день глажу Йонни рубашки, а он приходит грязный с головы до ног, потому что таскает корзины вдвое тяжелей его самого и сидит у дороги, поджидая покупателей, которые пожелают купить свежего мяса или фруктов из папиного сада. Знаю, что, пока он все не продаст, домой возвращаться нельзя.

Не вешай нос, смотри веселей. Когда ты ходишь такая унылая, у папы сердце разрывается.

* Тетушка (*исп.*).

** Доченька (*исп.*).